

Роковые яйца

Автор:

Михаил Булгаков

Роковые яйца

Михаил Афанасьевич Булгаков

Действие происходит в будущем. Профессор изобретает способ необыкновенно быстрого размножения яиц при помощи красных солнечных лучей...

Михаил Булгаков

Роковые яйца

Глава 1

Куррикулум витэ[1 - Жизненный путь (лат.)] профессора Персикова

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV Государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зиминим в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морозкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

– Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Уильяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли

события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на одиннадцати с четвертью, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально восемь великолепных экземпляров квакшей, затем пятнадцать обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

– Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся двадцать экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выставяющего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

– Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми

днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил два раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, восьми слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал четырнадцать штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал восемь раз в неделю – три в институте и пять в университете, в 24-м году тринадцать раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал семьдесят шесть человек студентов, и всех на голых гадах.

– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? – спрашивал Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

– Марксист, – угасая, отвечал зарезанный.

– Так вот, пожалуйста, осенью, – вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: – Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переуллка и Тверской, в центре Москвы пятнадцать пятнадцатипятиэтажных домов, а на окраинах триста рабочих коттеджей, каждый на восемь квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в двух комнатах. Теперь профессор все пять получил обратно, расширился, расположил две с половиной тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали пять новых микроскопов, стеклянные препаратные столы, шары по две тысячи ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных, или хитонов». 126 стр. «Известия IV Университета».

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на шесть языков, в том числе японский:

«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

Глава 2

Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из тридцати тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через

каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с пяти на десять тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

– Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

– Очень хорошо! – сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часов по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

– Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственные слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в

микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах – это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил – неизвестно.

– Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

– Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, – повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

- Угу, угу, - пробурчал он, - пропал. Понимаю. По-о-нимаю, - протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, - это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

- Я его поймаю, - торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху, - поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

- Панкрат, - сказал профессор, глядя на него поверх очков, - извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

- У-у-у, по-по-понял, - ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

– Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, – молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. – Кабинет я запер, – продолжал Персигов, – так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

– Слушаю-с, – прохрипел Панкрат.

– Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

– Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, – сказал ученый, – иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

– Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... – Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, не нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

– Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, – профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, – гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. – Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

– Эх, папаша! – крикнула она низким сиповатым голосом. – Что ж ты, другую-то калошку пропил?

– Видно, в «Альказаре» набрался старичок, – завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

– Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава 3

Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие

амебы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову, как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение двух секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какую-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

– Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это – получается ли он только от электричества или также и от солнца, – бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

– Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. – Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

– Вы посмотрите, Владимир Ипатьич, – говорил Иванов, в ужасе приликая глазом к окуляру, – что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

– Я их наблюдаю уже третий день, – вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

– Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, – вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

– О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через Комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того

злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в два дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалает. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

– Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

– Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, о дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, – видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: – профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

– Ну-ну-ну, – пробормотал он.

– Вы, – продолжал Иванов, – вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, – продолжал он страстно, – Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

– Ах, это роман, – ответил Персиков.

– Ну да, господи, известный же!..

– Я забыл его, – ответил Персиков, – помню, читал, но забыл.

– Как же вы не помните, да вы гляньте, – Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, – ведь это же чудовищно!

Глава 4

Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV Университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевернута, и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

– «Певсиков», – проворчал Персиков, взясь с камерой в кабинете, – и откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевернутая фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

– Он тамотко, – робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

«Альфред Аркадьевич БРОНСКИЙ

Сотрудник московских журналов – «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».

– Гони его к чертовой матери, – монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

– Ты что же, смеешься? – проскрипел Персиков и стал страшен.

– Из гепею, они говорят, – бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

– Позови-ка его сюда, – сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

– Что вам надо? – спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. – Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

– Я занят, – сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

– Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, – заговорил молодой человек тонким голосом, – что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

– Какие такие объяснения по всему миру? – заныл Персиков визгливо и пожелтев. – Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

– Над чем же вы работаете? – сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

– Да я... Вы что? Хотите напечатать что-то?

– Да, – ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

– Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. – И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

– Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

– Какой такой новой жизни? – остервенился профессор. – Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

– Во сколько раз? – торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

- Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

- Получаются гигантские организмы?

- Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, - сказал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся.

Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

- Вы же не пишите! - уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. - Что вы такое пишете?

- Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить два миллиона головастиков?

- Из какого количества икры? - вновь взбеленясь, закричал Персиков. - Вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, - квакши?

- Из полфунта? - не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

- Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

- Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

– Что это за газетный вопрос, – завыл Персиков, – и вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

– Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, – молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

– Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете? Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

– Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

– Панкрат! – закричал профессор в бешенстве.

– Честь имею кланяться, – сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукиванье в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и гроыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

– Господин профессор, – начал незнакомец приятным сиповатым голосом, – простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

– Вы репортер? – спросил Персиков. – Панкрат!!

– Никак нет, господин профессор, – ответил толстяк, – позвольте представиться – капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

– Панкрат!! – истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. – Панкрат! – повторил профессор. – Я слушаю.

– Ферцайен зи битте, херр профессор, – захрипел телефон по-немецки, – дас их штёре. Их бин митарбейтер дес «Берлинер Тагеблатс...»[2 - Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник берлинской «Tagesblatts» (нем.).]

– Панкрат! – закричал в трубку профессор. – Бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емфанген!..[3 - Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (нем.).] Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

– Кошмарное убийство на Бронной улице!! – завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, – кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

– Три копейки, гражданин! – закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: – «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами и с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», – гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись:

«Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!!» – завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! – Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

– Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, – сказал он печально и глубоко вздохнул. – Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

– Я, – пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, – никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглещ необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, – но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

– Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? – заискивающе и скорбно говорил механический человек, – ведь вам теперь все равно...

– Из полужуфта икры в течение трех дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, – ревел невидимка в рупоре.

– Ту-ту, – глухо кричали автомобили на Моховой.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Жизненный путь (лат.).

2

Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник берлинской «Tagesblatts» (нем.).

3

Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (нем.).

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/mihail-bulgakov/rokovye-yayca-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)